

СИМУЛЯКР:

золото греха,
золото солнца

Алерия-Элиза Вейсс

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

Алерия-Элиза Вейсс

**Симулякр: золото
греха, золото солнца**

«Автор»

2026

Вейсс А.

Симулякр: золото греха, золото солнца / А. Вейсс — «Автор»,
2026

Он дал обет Богу, она давно перестала верить, что её можно любить. Но в Барселоне конца 1980-х, среди ладана, морского ветра и чужого осуждения, отец Исберт и Алсиона Эреб становятся друг для друга тем, чего у них никогда не было: покоем и искушением одновременно. Их чувство растёт там, где не должно было родиться вовсе, — между храмом и ночным городом, виной и нежностью, страхом и жаждой быть любимыми по-настоящему. Это роман о запретной любви, которая делает слабее перед миром и сильнее перед собственной душой.

© Вейсс А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Часть 1	5
Конец ознакомительного фрагмента.	14

Алерия-Элиза Вейсс

Симулякр: золото греха, золото солнца

Часть 1

Глава 1. Гармония

«Не судите по наружности, но судите судом праведным».

Евангелие от Иоанна 7:24

* * *

1987 год.

Утро в Барселоне всегда наступало красиво, как и всё в этом городе, привыкшем жить напоказ: шпили храмов первыми ловили рассвет, и мягкий свет стекал по ним, как жидкий мёд; белый камень фасадов розовел, витражные окна вспыхивали цветом, а улицы внизу ещё хранили ночную прохладу, будто мир не до конца решил, каким хочет быть сегодня: благочестивым или порочным.

Храм Святой Евлалии и Креста возвышался над Испанией, словно не был связан с её публичными домами, салонами и игорными залами, а стоял над ними — ледяной, безупречный, ослепительный. Его ступени уходили вверх широкими террасами, своды поднимались так высоко, что взгляд невольно терялся в сиянии; внутри полированный камень так отражал солнечные лучи, что казалось, будто он сам источал его из глубины; витражи дробили утро на десятки мягких оттенков — янтарных, голубых, золотых — и эти цвета ложились на пол, на колонны, на склонённые головы прихожан.

Под сводами звучал хор. Голоса поднимались стройно, чисто, без единого надлома. В этом пении была исключительно выученная гармония, отточенная до совершенства. Она обволакивала храм, как благовоние, и делала всё вокруг торжественнее: каждое движение служек, каждый вдох прихожан, каждый отблеск света на золоте алтаря.

Исберт стоял у кафедры в церковном облачении. Свет с верхних витражей ложился на его лицо мягко и благодатно, подчёркивая красоту черт, светло-рыжие волосы, линию шеи, сдержанность каждого жеста. Он не повышал голос, не давал в словах напора — нужды не было. Его и без того слушали так, как если бы он говорил не с людьми, а прямо в них.

— Мы живём во времени, — произнёс он, и храм послушно затих, — когда блеск всё чаще принимают за свет, а излишество — за свободу. Но истинный свет не ослепляет — он требует, он обнажает, отнимает всё лишнее, пока не останется только то, что способно выстоять перед судом собственной совести.

Ни один слушатель не двинулся.

Исберт говорил спокойно, без дешёвого жара и театральности. В его голосе не было ни гнева, ни восторга — только ясность и желание поделиться ею. Именно это и действовало на прихожан сильнее всего.

Он лишь называл вещи их подлинными именами, и потому от его слов было труднее укрыться.

— Мир, ищущий наслаждения без меры, неизбежно приходит к пустоте, — продолжил Исберт. — Душа, не знающая дисциплины, не знает и подлинной радости. Жертва не наказание, а цена чистоты. Отказ не лишение, а форма верности свету.

Несколько женщин в передних рядах опустили головы ниже. Молодой мужчина слева медленно сцепил пальцы, его костяшки побелели. Кто-то едва заметно перекрестился.

Исберт видел это краем глаза, как всегда, замечал малейшие перемены в лицах, дыхании, напряжении тел. Он давно научился понимать, в какую именно точку вошло сказанное слово.

И всё же внутри была не ясность. Усталость жила в нём — тонкая, аккуратная, как трещина под глазурию. Она не мешала держать спину прямо, не путала мысли, не ломала голос — напротив, делала его ещё точнее. Только после каждой службы оставалось одно и то же ощущение: будто он вновь идеально исполнил роль, которую не имел права исполнять плохо, и снова не ощутил от этого ничего, кроме пустоты.

Однако он не позволял ей отразиться на лице.

— Истинная вера не ищет удобства, — сказал он напоследок. — Она ищет порядок в себе, прежде чем требовать порядка от мира.

Последние слова растворились под сводами. Хор подхватил заключительный гимн, и на мгновение всё вновь стало безупречным: золото, белый камень, свет, молитва, стройность голосов, склонённые головы.

Со стороны это и было совершенством.

Спустя некоторое время...

Когда служба закончилась, люди не спеша двинулись к выходу, словно не желая возвращаться в обычную жизнь.

Подле Исберта, как всегда, образовался круг. Пожилые женщины подходили первыми. Они делали это с трогательной робостью, словно боялись потревожить образ, принадлежавший храму больше, чем самому себе.

— Отец Исберт, ваша проповедь сегодня была особенно сильной, — сказала одна, прижимая к груди перчатки. — Прямо в сердце.

— Вы так правильно говорите о соблазнах, — подхватила вторая. — Сейчас молодёжь совсем забыла стыд!

— Если бы больше слушали вас, город был бы чище, — вздохнула третья.

Он благодарил их мягко, коротко, с тем вниманием, которое никогда не переходило в фамильярность. Каждой доставалось ровно столько тепла, сколько было нужно, чтобы уйти утешенной. На него смотрели с благодарностью и благоговением, и Исберт принимал это как ещё одну обязанность.

Чуть поодаль уже ждали другие. Представители городской элиты редко подходили с такой же искренностью, как старушки из первых рядов. Их интерес к храму был устроен сложнее: в нём всегда было много расчёта, влияния, репутации, взаимных обязательств. Несколько мужчин в дорогих костюмах негромко обсуждали что-то, поглядывая в его сторону. Две безупречно одетые дамы с жемчужными нитями на шеях говорили о будущих благотворительных приёмах и о том, как важно, чтобы церковь оставалась «нравственной опорой города».

Когда Исберт подошёл ближе, разговор естественным образом перестроился вокруг него.

— Ваша популярность среди горожан растёт, — заметил один из членов городского совета, с вежливой улыбкой складывая руки за спиной. — В непростые времена это особенно ценно.

— Люди устали от распушенности, — промолвила дама в тёмно-синем. — Им нужен пример, голос, которому можно доверять.

— И лицо, — тихо добавил кто-то сбоку.

Исберт сделал вид, что не услышал.

К ним приблизился монсеньор Лукьян Лихтен — генеральный викарий, мужчина лет шестидесяти с внимательным, всегда оценивающим взглядом. Он был достаточно стар, чтобы позволять себе отеческий тон, и достаточно умен, чтобы грамотно пользоваться им.

— Прекрасная служба, — отметил он, положив ладонь Исберту на предплечье. — Очень своевременная. Город нуждается в таких людях, как вы.

Слова были произнесены с теплотой, но в них слышалось и нечто большее: констатация полезности. Исберт склонил голову в знак благодарности.

— Я лишь исполняю свой долг, монсеньор.

— Именно поэтому вы и ценны, — улыбнулся Лукьян. — Сейчас особенно важно напоминать людям, что порядок не возникает сам по себе. Его необходимо поддерживать.

Разговор плавно перешёл к тому, что уже несколько недель обсуждалось в городских кругах всё чаще и всё увереннее: к кампании по «очищению нравов».

Совет города и церковь готовили совместную инициативу. Формулировки были отточены до блеска: борьба с распушенностью, защита молодёжи, возвращение к ценностям, искоренение опасных форм роскоши. На деле же речь шла о вполне конкретных местах и людях — об игорных домах, частных салонах, вечерних клубах, о тех пространствах Барселоны, где деньги, удовольствие, влияние и грех так тесно сплетались воедино, что уже давно перестали делать вид, будто существуют порознь.

— Город слишком долго закрывал глаза, — произнёс один из советников. — Всё это стало чересчур заметным, чересчур смелым.

— Молодые девушки видят, какой жизнью живут некоторые женщины, — подала голос дама с жемчугом, — и начинают считать это свободой.

— А мужчины начинают считать, что всё дозволено, пока это красиво подано, — сухо заметил другой.

— Порок стал хорошо одеваться, — усмехнулся кто-то.

На этом месте впервые прозвучало имя.

— Алсиона, например, — вставила дама так, словно коснулась чего-то неприятного, но притягательного. — Разве не она стала символом всей этой блестящей распушенности?

Ещё секунду назад разговор был абстрактным, административным. Теперь же он обрёл лицо.

— Дурной пример для молодых женщин, — с холодным удовлетворением сказал советник архиепархии. — Они смотрят на неё и видят не падение, а успех.

— Женщина, которая превратила порок в искусство, — произнёс кто-то несколько восхищённо и тут же сменил интонацию, спохватившись.

— Дорога в упадок, вот что она такое, — отрезала дама.

Имя осталось в воздухе. Исберт до этого слышал его лишь вскользь — как слышат названия далёких домов, в которые не заходят, но которые всё равно отображены на карте. Теперь же в чужих голосах оно зазвучало иначе: чрезмерно многослойно и живо, чтобы быть простой сплетней.

Он ничего не ответил, и остальные, почувствовав молчаливое позволение, продолжили обсуждение.

Ему объяснили, что салон Алсионы стал одним из самых известных мест Барселоны. У неё собирались богатые мужчины, чиновники, музыканты, артисты, владельцы газет, те, кто решал судьбы денег и репутаций за вином, картами и светской беседой. Туда приходили те, кто днём говорил о добродетели, а ночью искал развлечения поизысканнее.

— Умна до неприличия, — заметил один из мужчин. — Говорят, может за один вечер узнать больше, чем иной секретарь за месяц.

— И прекрасно понимает, кому, что и когда нужно сказать, — добавил второй.

— Она умеет влиять на решения людей, которым, вообще-то, следовало бы быть выше подобных слабостей, — холодно сказал Лукьян.

— Тем хуже для них, — лениво обронил кто-то из молодых представителей совета архиепархии, но тут же умолк под несколькими недовольными взглядами.

Имя Алсионы повторилось ещё несколько раз. Каждый произносил его по-своему: с осуждением, с раздражением, с брезгливостью, с невольным любопытством.

Исберт слушал и постепенно понимал, что говорит не о какой-то случайной фигуре полусвета. Нет, речь шла о женщине, чьё влияние чувствовали даже те, кто хотел бы его отрицать.

Светская львица, хозяйка салона, покровительница артистов, собеседница политиков, опасная, умная и непозволительно заметная женщина.

Почти все описания были осуждающими, но в каждом сквозило что-то ещё — то напряжённое внимание, которое сопровождает по-настоящему притягательные явления. Так говорят о том, что раздражает именно тем, что имеет силу.

Исберт слушал с привычным спокойствием, однако где-то внутри появилось едва заметное движение мысли. Он прекрасно знал, как часто толпа ненавидит не только зло, но и всё, что выбивается из удобного порядка.

Разговор постепенно иссяк. Кто-то заговорил о грядущем заседании совета, кто-то о возможной поддержке газеты, кто-то о благотворительном вечере в пользу сиротского приюта при храме. Это вернуло беседу в безопасное русло.

Люди начали расходиться. Утро в храме подходило к концу. Свет уже поднялся выше, стал резче, и цветные блики витражей ползли по полу медленно, незаметно меняя рисунок.

Когда последние посетители покинули главный зал, Исберт направился в небольшую комнату рядом с ризницей, где обычно разбирали записи, пожертвования и корреспонденцию для церковных нужд. Там уже стоял один из молодых помощников, аккуратно раскладывая конверты и карточки.

— Пожертвования на приют за эту неделю, — пояснил он, чуть встрепенувшись при виде Исберта. — Есть несколько крупных сумм от постоянных жертвователей... и одно анонимное.

Исберт кивнул и машинально пробежал взглядом по стопке.

Большинство карточек были привычными: имена уважаемых семей, печати, суммы, короткие благочестивые пометки.

Но один конверт действительно выделялся. Без фамильного герба, без имени, без лишних слов. Только сумма — очень большая для случайного взноса — и маленькая карточка с инициалами.

Исберт взял её в руки.

— Инициалы? — спросил он.

Помощник замялся, потом, понизив голос, словно речь шла о чём-то неприличном даже в пустой комнате, ответил:

— Возможно, это от Алсионы.

Исберт поднял взгляд.

— Возможно?

Юноша неловко пожал плечами.

— Она часто жертвует тайно. Не только нам: приютам, лечебницам, иногда музыкантам... тем, кто оказался без покровителей. Но никто не любит говорить об этом вслух. Особенно те, кто днём её осуждает...

Он осёкся, будто ляпнул лишнего.

Исберт снова взглянул на карточку. Ничего вызывающего, ничего кокетливого. Просто знак присутствия, скрытого настолько, чтобы его можно было не замечать, — и всё же достаточного, чтобы знающий человек понял.

— Вы уверены? — уточнил он.

— Нет, отец, — признался помощник. — Только слухи. Но они ходят давно.

За стеной слышались отдалённые шаги служек, приглушённые голоса, шорохи утренней работы храма. Всё вокруг оставалось прежним: порядок, свет, белый камень, золото. И всё же в этой маленькой карточке с безликими инициалами внезапно оказалось нечто лишнее, неуместное для стройной картины.

Женщина, о которой только что говорили как о воплощённом соблазне, тайно жертвовала деньги сиротскому приюту.

Не ради имени — его здесь как раз не было.

И не ради общественного одобрения — общество предпочло бы не знать.

Исберт положил карточку обратно, но взгляд задержался на ней ещё на мгновение.

Это было слишком малым фактом, чтобы изменить убеждения; слишком смутным, чтобы делать выводы. И всё же именно такие малые вещи иногда трогают основание самых надёжных стен.

Он вышел обратно в зал, где утренний свет лежал на полу цветными пятнами. Барселона за пределами храма жила своей обычной жизнью — блестящей, шумной, многоликой. Мир по-прежнему казался разделённым на то, что следует благословлять, и то, что следует осуждать.

Но теперь в этой ясной схеме появилась первая трещина, и оттого утро вдруг перестало быть таким безупречным.

Глава 2. Женщина, вошедшая в храм

«И свет во тьме светит, и тьма не объяла его».

Евангелие от Иоанна 1:5

К вечеру Барселона преображалась.

Утренний свет, в котором город ещё мог притворяться строгим и невинным, к закату становился другим: тёплым, густым, лукавым. Белый камень фасадов начинал отливать золотом, стеклянные галереи вспыхивали отражениями, в окнах верхних этажей разгоралось медовое сияние ламп, и улицы, ещё недавно принадлежавшие чиновникам, служащим и благочестивым лицам, медленно переходили во власть иного дыхания — вечернего, праздного, шепчущего. С наступлением сумерек Барселона вспоминала, что умеет не только молиться, но и желать.

Храм Святой Евлалии и Креста, однако, и в этот час сохранял свою безупречность. Он возвышался над вечерним городом так же, как утром: чистый, белый, залитый светом, будто неподвластный переменам человеческого настроения. Но в сумерках он производил иное впечатление. Днём в нём было торжество ясности; вечером — пугающая строгость. Когда шпили темнели на фоне угасающего неба, а внутренние залы озарялись сотнями огней, храм начинал казаться не частью города, а судом над ним.

Сегодняшняя служба была посвящена покаянию. Об этом знали заранее. У входа стояли служки, принимавшие прихожан, на ступенях задерживались те, кто не сумел войти сразу, в боковых приделах горели ряды свечей. Людей собралось заметно больше обычного. Отчасти потому, что имя Исберта уже само по себе притягивало толпу, но и потому, что Барселона жадно откликалась на всё, что касалось нравственности, греха и публичного осуждения. Чем громче в городе становились слухи о будущей кампании против салонов, домов удовольствий и прочих «очагов развращения», тем охотнее люди шли в храм слушать о падении души. Одни — чтобы укрепиться в собственной праведности, другие — чтобы испытать приятный холод от чужих обличений, третьи — чтобы заранее понять, с какой стороны скоро начнёт дуть ветер власти.

Исберт знал это.

Перед вечерней службой он стоял в небольшой ризнице за главным залом, пока служка поправлял край его облачения и зажигал лампы у стены. В узком окне дрожал закатный свет, уступая место свечам, в воздухе держался устойчивый запах ладана, воска и чистой одежды. Всё было привычно подчинено порядку — именно так, как он любил. Именно так, как умел держать себя самого.

— В зале сегодня особенно многолюдно, отец, — осторожно сказал служка. — Даже на ступенях стоят.

Исберт кивнул.

— Пусть откроют боковой вход и проследят, чтобы у северного не было давки.

— Уже сделано.

Служка помялся, потом всё-таки добавил:

— Говорят, из городского совета тоже пришли. И несколько газетчиков.

Разумеется.

Исберт не удивился. Он и сам понимал, что сегодняшняя служба будет слушаться не только сердцами, но и ушами, привыкшими ловить влияние, общественный тон, возможность для правильного жеста. Покаяние всегда звучало особенно громко в городе, где люди предпочитали чужие грехи собственным.

Исберт отпустил служку лёгким движением руки и остался на несколько мгновений один. Перед выходом к прихожанам он всегда позволял себе короткую паузу.

Он знал, как выглядит со стороны: молодой священник, до неприличия красивый, сдержанный, точный, уверенный для своего возраста. Для одних Исберт был утешением, для других — образцом, для третьих — полезной фигурой, через которую можно провести нужный нравственный посыл в город. Он давно научился жить внутри этих взглядов, не позволяя им касаться своего сердца.

Но сегодня усталость сидела глубже обычного. Он спал достаточно, не был болен. Всё, что требовалось от него, мог исполнить безошибочно. И всё же внутри стояло то же чувство, что и утром, — бесцветная пустота, с которой Исберт в последнее время всё чаще встречался под слоем безупречно исполненного долга.

Он опустил глаза.

«Дай мне говорить ясно», — молил он.

Из зала донёсся протяжный аккорд органа.

Пора.

Когда Исберт вышел под своды, храм уже был заполнен: люди заняли центральные ряды и боковые проходы, у колонн стояли опоздавшие, в верхних галереях виднелись тёмные силуэты.

Золочёные своды отражали дрожащий свет ламп так, будто над головами собравшихся располагалось перевернутое море огня. Белый камень стен в этом освещении казался живым. На витражах сгушались янтарные тона вечера, красные и синие стёкла светились изнутри, как закрытые раны и драгоценности одновременно.

Хор мягко начал вступление, люди поднялись.

Исберт занял место у алтаря, затем у кафедры. Когда он поднял взор на зал, в нём стало настолько тихо, что слышно было лишь дыхание огня в лампадах и движение воздуха далеко под сводами.

— Есть грех, который человек совершает не в поступке, а задолго до него — в то мгновение, когда начинает убеждать себя, что тьма в нём не заслуживает называться тьмой.

Несколько голов сразу поднялись.

— Покаяние начинается не со страха наказания, — продолжил он. — И не с желания выглядеть лучше в собственных глазах. Оно начинается там, где человек перестаёт договариваться с собой. Там, где больше нельзя назвать слабость свободой, тщеславие — достоинством, распушенность — правом на счастье.

Слова уверенно уходили в зал. Исберт чувствовал, как его слушают. Всегда чувствовал. Многие приходили за этим особым ощущением, когда кто-то другой, красивый, спокойный и неподкупный, называет вещи так, как они сами боялись назвать.

— Грех редко входит в жизнь человека под своим именем. Он приходит как изящество, как удобство, как блеск, как удовольствие, как право не отказывать себе. Он умеет быть красивым, умеет быть разумным, умеет даже казаться невинным. Но душа узнаётся не по тому, как тонко она оправдывает себя, а по тому, от чего она готова отказаться ради истины.

У колонны пожилая женщина прижала пальцы к губам. Молодой мужчина в дорогом пальто, стоявший ближе к проходу, неотрывно смотрел на кафедру, будто слушал приговор, предназначенный лично ему. Где-то в середине ряда склонилась девушка с бледным лицом. Исберт видел их всех и никого отдельно. Он обращался сразу ко множеству людей и в то же время всегда будто к одному — тому, кто в этот миг готов был слушать внимательнее других.

— Истинный свет никогда не льстит нам, — голос стал немного твёрже. — Он требует жертвы, дисциплины, отречения. Не потому, что любовь к свету враждебна радости, нет. Но потому, что всё подлинное имеет цену. Дешёвое утешение ищет человек, ещё не встретившийся с правдой. Правде же всегда нужно место, освобождённое от лишнего.

Где-то у входа послышался едва уловимый шорох, не похожий на обычное движение опоздавшего прихожанина. Исберт уловил его краем сознания, не сбившись с фразы.

— И потому покаяние не есть унижение. Это возвращение меры, возвращение порядка, возвращение человека к самому себе — такому, каким он мог бы быть, если бы не полюбил собственную тень.

Шорох усилился.

Сначала он заметил мгновенную перемену в зале: несколько лиц в первых рядах повернулись, кто-то задержал дыхание, чье-то внимание, ещё секунду назад прикованное к кафедре, скользнуло к дверям. Напряжение пошло по храму незримой рябью, как по воде идёт круг от брошенного камня.

И только тогда Исберт поднял глаза чуть левее обычного и увидел её.

Алсиона вошла в храм так, будто не вторгалась в чужое пространство, а просто оказалась там, где ей следовало быть с самого начала.

В ней не было ничего вульгарного или дешёвого — ничего того, за что толпа могла бы с облегчением осудить её сразу, грубо и бездумно. Напротив, это и делало её появление таким раздражающе сильным. Она была ослепительно элегантна. Золото её платья не кричало, а текло мягким приглушённым сиянием по фигуре, словно ткань была соткана из закатного отблеска. Оно обнимало силуэт с той точностью, которая не переходит в наготу, но подчёркивает всё, что нужно, лучше любой открытости. На её плечах лежала накидка, оттеняющая белизну кожи. Украшения были подобраны безупречно: тонкие серьги, несколько драгоценных браслетов на запястьях, ни одной лишней детали. В одной руке она держала веер, как часть самой осанки.

Лицо её было открытым, спокойным, даже несколько серьёзным. От неё исходил едва различимый вишнёвый аромат.

Она действительно принесла с собой другой мир — утончённый, дорогой, привыкший к шёлку, вину, музыке, смеху за закрытыми дверями, свечам, которые зажигали не ради молитвы, а ради наслаждения. Мир, в котором удовольствие подавали как искусство. Мир, в котором порок умел быть прекрасным.

Она остановилась там, где могла остаться заметной и при этом не нарочито — чуть сбоку, под высоким витражом, и подняла взгляд на кафедру.

На него.

Исберт продолжил говорить.

Только в этот момент он впервые осознал, что ему потребовалось сделать усилие, дабы сохранить прежний ритм речи.

— Человек... — начал он и незаметно для всех, кроме себя самого, сделал паузу на долю удара сердца. — Человек не становится чище от того, что умеет лучше скрывать свои страсти.

Никто, вероятно, не заметил сбоя. Никто, кроме него.

Исберта разозлило это — не появление Алсионы, а его собственная реакция: то, как резко он ощутил её в пространстве; то, как сознание, привыкшее удерживать зал целиком, вдруг выделило одно-единственное лицо, одну-единственную фигуру, одно-единственное спокойствие среди десятков склонённых голов.

Он продолжал проповедь, и голос больше не предавал его.

— Самообман бывает изысканнее открытого падения, и тем опаснее. Тот, кто называет порок свободой, служит не свободе, а собственной слабости. Тот, кто украшает внутреннее разложение блеском, всё равно не изменяет его сути.

Слова, сказанные им, должны были бы лечь на неё естественно. Все в храме наверняка уже воспринимали их именно так. Но проблема состояла в другом: Алсиона слушала без малейшей суеты, без смущения, без вызывающей усмешки. Она не пыталась спрятаться и не демонстрировала показного бесстрашия. Просто стояла и слушала.

Если бы она улыбалась с откровенной дерзостью, если бы переговаривалась с кем-то, если бы пришла устроить сцену — всё стало бы проще. Её можно было бы внутренне оттолкнуть, определить, назвать так, как её уже называла Барселона. Но она вела себя так, будто вправду пришла за проповедью, и от этого Исберт вдруг ощутил неуверенность.

В храме между тем уже шёл обмен реакциями. Шёпот пополз по дальним рядам. Осуждающие взгляды вспыхивали и гасли. Несколько женщин сделали вид, что не смотрят в ту сторону вовсе, однако следили за каждым её движением слишком пристально, чтобы кого-то обмануть. Мужчины реагировали иначе. Одни смотрели украдкой и быстро отводили глаза, будто боялись быть уличёнными в желании вспомнить. Другие, напротив, не удерживались от второго взгляда. Несколько человек в передних рядах опустили глаза с поспешностью, которая выдавала узнавание отчётливее любых слов.

Алсиона, казалось, ничего этого не замечала.

Либо замечала всё и давно научилась не подавать виду.

Исберт продолжал вещать о покаянии, но теперь вынужден был ещё и удерживать порядок в себе. Ему не нравилось, что собственные слова стали ощущаться острее в тот момент, когда под витражом стояла женщина, о которой в городе говорили как о воплощении распущенности; не нравилось, что он вдруг начал слышать в своей же проповеди двусмысленный акцент, которого не вкладывал; не нравилось, что её непринуждённый взор заставлял его про- верить каждую фразу изнутри, прежде чем произнести.

— Многие приходят к покаянию не потому, что возненавидели свой грех, а потому, что испугались последствий. Но страх перед позором ещё не есть жажда истины. Можно оставить

дурную привычку и не стать чище. Можно отказаться от наслаждения и всё ещё любить его в сердце. Свет начинается там, где человек перестаёт быть снисходительным к собственной тьме.

При этих словах что-то изменилось в её лице. На нём проявилось усталое понимание, словно она слышала эту мысль совсем не так, как слышал её весь остальной зал. И оттого Исберт сбился в собственном ощущении власти над происходящим ещё сильнее.

Что именно она в этом слышала?

Суд?

Правду?

Пустую церемонию?

Неужели он и вправду начал думать о том, как звучат его слова для неё? Для женщины, имя которой ещё утром произносили с брезгливым любопытством?

Его раздражение стало холоднее.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.